

## 2. Только одно табу

Крайнее своеобразие тоталитарной культуры (и на западе, и на востоке Европы) состоит в том, что она подвергла табуированию не отдельные формы жизненной деятельности, но абстрактный универсальный субъект — человеческое как таковое. О человеке либо можно говорить апофатически, либо нельзя говорить вовсе. Он несказуем. Отсюда вытекает несколько важных следствий, конститутивных для советского тоталитаризма:

(а) Раз табу теряет свое конкретное содержание, то стирается разница между нарушителем запрета и правопослушным членом общества. Любой человек, виновен он на деле или нет, должен опасаться наказания. Сталинский террор не государственный по своей природе (он направлен и против столпов государственной власти), но, если так позволительно выразиться, антропоцентрибежный, расставляющий человеко-ловки, в которые может попасться каждый (как не впасть в словотворчество, когда речь идет о столь оригинальном явлении, как запрет быть человеком!). Обычные в практике террористического судопроизводства вымышленные обвинения подсудимых в сотрудничестве с иностранными разведками подразумевают в своем последнем смысловом слое компрометирование всечеловека, который оборачивается шпионом. Концлагеря — школы гностицизма, где человек познает всю меру своего земного, тварного падения<sup>8</sup>. Система ограничений, предписаний в тоталитарной культуре либо слабо разработана (социализм был литературой без нормативной поэтики<sup>9</sup>), либо не доведена до массового сознания (ознакомление граждан СССР с Уголовным Кодексом, не запущенным в свободную продажу, было затруднено): будучи универсализованным, запрет распространяется и на самого себя. В мире, построенном негативной антропологией, запрещается запрещать.

(б) Табуированное человеческое есть тайна. Все советские люди обязываются к скрытности. Иными словами, они становятся без разбора обладателями исключительности. Массовая исключительность означает, что люди объединяются друг с другом (например, в концлагерях, в колониях для беспризорных, в местах расселения ссыльных народов, в колхозах, отбирающих у крестьян удостоверения личности и т. п., или, с другой стороны, на трудовых и воинских постах, где совершается чудо коллективного самозабвения, самопожертвования) по негативному признаку — постольку, поскольку они выпадают из рода человеческого.

Преследование калек и убогих в советском обществе избавляло его от омнии: если нормой является исключение<sup>10</sup>, то физическое отклонение от стандартов человеческого тела — это симулякрум нормы. Чтобы сделать информацию, исходившую из тоталитарного социума, безошибочно воспринимаемой, из нее нужно было устранить наличествовавшую в ней омнимию. На границе антропологического мира дежурит калека — уже не, но все же еще и человек, объект милосердия, т.е. проверки человеком своего человеческого содержания. В мире негативной антропологии пограничным телом становится совершенное тело атлета, маркирующее тот предел, на котором начинается человеческое («Эй, вратарь, готовься к бою — / Часовым ты поставлен у ворот. / Ты представь, что за тобою / Полоса пограничная идет»). По-видимому, одним из первых, кто открыто отказал нездоровому и уродливому телу в праве на сопresутствие среди здоровых людей, был Горький, связавший в статье «Пролетарский гуманизм» (1934) нацистскую идеологию с соматическими дефектами: «Фашизм — это мобилизация и организация капиталом нездоровых физически и морально отслоенных истощенного буржуазного общества, мобилизация юных потомков алкоголиков и сифилитиков... Кто видел парады фашистов, тот видел, что это — парады рахитичной, золотушной, чахоточной молодежи, которая хочет жить со всею жадностью больных людей, способных принять все, что дает им свободу выявить гнойное кипение их отравленной крови»<sup>11</sup>.

Впрочем, старание исключительного тоталитарного человека отделаться от своего симулякрума давало и иной итог, чем тот, который обнаруживается у Горького. Нередко соцреализм рисовал физиологическую нехватку «снятой», преодоленной: паралич не мешает Корчагину вести семейную жизнь («Как закалялась сталь» Н. Островского, 1932—1934); безногий пускается в санатории в пляс на протезах в «Повести о настоящем человеке» (1946) Б. Полевого; взрослые устраивают хоровод кроватей, с которых не в силах подняться чудовищно истощенные дети («Счастье»). По поводу последней сцены стоит заметить, что одного из участвующих в ней детей, лишённого всех четырех конечностей, Павленко наделил не без черного юмора «пищевым» прозвищем «Колобок», отдающим каннибализмом, который вполне естественен для негативной антропологии.

(в) Табу, налагаемое на человеческое, сообщает сакральному всеохватывающий объем и не оставляет никакого места для профанного (не убегающего в трансцендентность, читай: в «светлое будущее») существования. В то же время сакральное, будучи омниосакральным, не имея специфицирующей его противоположности, подвергается профанизации. (Сказанное нами перекликается с утверждением Ж. Батая о том, что в тоталитарных режимах «гетерогенные» социокультурные элементы (они же — сакральные) выступают в нерасторжимом единстве с «гомогенными», профанными<sup>12</sup>).

Обесмысливание всеосвященного запечатлевалось тоталитарной культурой в первую очередь в том, что ее ритуалистичность имела в виду смерть Времени Творения. Свое абсолютное начало тоталитаризм воспроизводил как Ничто<sup>13</sup>. У выставленного напоказ мертвого тела Ленина и у ликвидации вождей революции, периодически возобновлявшейся Сталиным, отыскиваются параллели в искусстве соцреализма. В раннюю пору своего развития соцреализм выдвинул на

передний план (парадоксальный) мотив поражения «красных» в ходе Гражданской войны. Сталинское искусство квазиритуалистически возвращалось к неповторимому в настоящем, исчерпавшему себя Большому прошлому (ср. картину Иогансона «Допрос коммунистов» (1933), гибель Чапаева в кинофильме братьев Васильевых (1934), истребление революционных отрядов в концовках «Разгрома» (1927) Фадеева и «Оптимистической трагедии» (1933) Вишневского и т. п.). Более того, человек Эпохи Творения оказывался в литературе соцреализма не только умирающим, но и противящимся социализму: в романе Л. Леонова «Скутаревский» (1930) бывший красный партизан сотрудничает с инженерами-вредителями и кончает самоубийством. Точно так же занимается вредительством в квазиутопическом романе Ильенкова «Солнечный город» (1935) старый революционер, инженер Бородин<sup>14</sup>, который намеренно допускает обвал на стройке. Вторым способом опустошить исходный для ритуала акт Творения было фальсифицирование истории Гражданской войны (см. хотя бы: «Хлеб» (1937) А. Н. Толстого, «Незабываемый 1919-й» (1949) Вишневского). Антропологическое значение исторических фальсификаций, предпринятых соцреализмом, было заключено в том, что они меняли местами (божественную) креативность и (человеческую) рекреативность, не придавая последней значения первой истинности.

Будучи персонификацией тоталитарной ритуалистичности, Сталин поддерживает прямой контакт со Смертью, запросто общается с ней, она вхожа к нему<sup>15</sup>. В стихотворении С. Васильева «Кремль ночью» (1947) к Сталину в кабинет без помех проникает История, чей образ недвусмысленно восходит к мифопоэтической фигуре Смерти (ср. такие признаки Истории, подчеркнутые в этом тексте, как дряхлость, невидимость, вороватость, способность к пересечению всех границ): «...кто-то где-то очень глухо / прозвенел в ночи. / То история-старуха / достает ключи. / Сразу связку вынимает / кованцев больших / и со связкою шагает / мимо часовых. / Открывает двери тихо / с потайным замком. / Ей тут, видно, каждый выход, / каждый вход знаком./ Мимо пестрых узорочий / под граненый свод / прямо к Сталину в рабочий / кабинет идет. / Появилась у порога, / вслух произнесла: / — Вижу я, что дела много, / даже ночь мала»<sup>16</sup>.